

РЕГРЕССИВНАЯ СОЦИАЛЬНОСТЬ? ПОСТСОВЕТСКИЕ ОБЩЕСТВА В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Круглый стол, приуроченный к 10-летней годовщине
со дня смерти белорусского философа
Владимира Фурса (1963–2009)

(дискуссия состоялась в рамках
Конгресса исследователей Беларуси 28 сентября 2019 года
в Европейском гуманитарном университете, Вильнюс)

Спикеры:

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ

(историк, Высшая школа экономики, Москва)

ВЛАДИМИР МАЦКЕВИЧ

(философ, общественно-политический деятель, Летучий университет, Минск)

МИХАИЛ МИНАКОВ

(философ, социально-политический аналитик, Kennan Institute)

Модератор:

ТАТЬЯНА ЩИТЦОВА

(философ, ЕГУ)

Тема нашего круглого стола инспирирована статьей Владимира Фурса *Белорусская реальность в системе координат глобализации*, в которой он ввел понятие регрессивной социальности. Но перед тем как перейти непосредственно к теме сегодняшнего разговора, я хотела бы сказать несколько слов об интеллектуальной биографии Владимира Фурса, которая сама по себе достойна изучения. Владимир родился в 1963 году и принадлежал к тому поколению, которое еще в полной мере было интегрировано в систему координат советской академии. На фоне того социального слома, который произошел в связи с распадом Советского Союза, Фурс очень скоро становится для белорусской философской среды



невероятно важной фигурой. В условиях начавшихся радикальных социальных трансформаций и кризиса постсоветских академических институций он смог не только удержать исключительно высокую планку профессионализма в своей научной работе, но и стал одним из пионеров в разработке социально-критической теории в нашем регионе, открыв тем самым новую аналитическую перспективу для белорусских философов и социологов. Освоив и предложив авторскую интерпретацию концептуального аппарата социально-критической теории, Владимир в более поздний период своего творчества начинает писать тексты, посвященные прицельному анализу белорусской и в целом постсоветской социальной реальности. К ним относится и статья *Белорусская реальность в системе координат глобализации*, которая вышла в 2005 году. Темой нашего разговора является концепт регрессивной социальности, предложенный в данной статье. В какой мере он релевантен сегодня? Насколько он актуален при анализе современной Беларуси и других постсоветских стран, в частности, России и Украины? Я хотела бы адресовать этот вопрос всем нашим спикерам и для начала попрошу высказаться Владимира Мацкевича.

ВЛАДИМИР МАЦКЕВИЧ:

– Если позволите, я сначала скажу несколько слов о личном отношении, взаимодействии с Владимиром. Я познакомился с ним где-то в 1994 году, только-только приехав в Беларусь после двух лет, проведенных в Москве. Я приехал уже, как мне кажется, состоявшимся в своих взглядах и убеждениях человеком. Тем более включенным в некую школу, Московский методологический кружок. Поэтому на тот момент я очень мало знал о белорусской мысли. Я знал про школу Стёпина и представлял место Стёпина в методологии, философии. Все остальное было для меня в общем почти неизвестным. Одним из первых белорусских философов, с кем я столкнулся, был Анатолий Арсеньевич Михайлов. Группа людей вокруг него была достаточно разнообразная. Владимир Фурс позже для меня ассоциировался с этим Михайловским окружением. При этом, увидев на тот момент молодого, чуть больше 30 лет человека, сразу можно было оценить перспективы. Тем более за пределами философии у нас с Владимиром пересекались некие практические интересы. Например, он работал в РИВШе по проблеме дистанционного образования. Он был одним из активных участников издания в фонде Сороса текстов молодых философов.

Наше знакомство эпизодически продолжалось, и были какие-то контакты примерно до 2001 года. В 2001 году у нас с ним состоялась небольшая дискуссия на территории ЕГУ, базирующаяся тогда в Минске. Потом наступило время, когда я уходил из

академических структур, я ушел в бизнес и возвращался оттуда только в неформальной форме. И тогда мы достаточно жестко спорили. Мне казалось, что Михайловское направление, к которому я причислял и Владимира Фурса, очень мало обращает внимания на Беларусь и на белорусские проблемы. Вдруг я обнаруживаю уже по публикациям, по разговорам с людьми, которые посещали семинар Фурса и ходили ко мне на семинары, обострение у Владимира интереса к Беларуси и интересные по этому поводу разработки и размышления. Глубокий, достаточно серьезный интерес к социальной философии. Перенос основного интереса на Беларусь меня очень порадовал.

Параллельно несколько направлений мысли, как школьных, так и вне философских школ, развивали идеи, близкие к тому, что Фурс обозначил в названной статье. Действительно, мы видели определенную социальную деградацию или упрощение. Упрощение устройства, структуры, упорядоченности социума за те постсоветские годы, в которых мы жили, действовали и так далее. Мы видели это и как обыватели, граждане страны.

Та дискуссия, которая у нас состоялась с Фурсом в 2001 году, касалась вопроса об активной философии. Если мы в теории занимаемся только описанием того, с чем имеем дело, то может ли философия соответствовать тезисам Маркса о Фейербахе? Не только описывать этот мир, но и каким-то образом воздействовать на него. В более частном варианте: можем ли мы не только описывать упрощение социальных структур и регресс, но и каким-то образом влиять на какие-то тенденции? Можем ли мы участвовать в игре на повышение и в игре на понижение?

Этот концепт активной философии, который в то время пытался развивать Владимир на своем семинаре в ЕГУ, мне показался очень важным и существенным. Тогда встает вопрос о том, каким образом процесс развития, совершенствования, усложнения, неэнтропийные процессы могут быть подвластны какому-то воздействию? По законам термодинамики и по всему тому, что мы знаем об информационных системах, усложнение происходит через подпитку из внешней системы, из метасистемы. Если оставить систему без такого взаимодействия, энергетического и информационного взаимодействия с внешней средой, то происходит только энтропийный процесс. Если мы говорим о регрессе или инволюции в общественной системе отношений, то откуда брать вот эти внешние источники энергии и информации, которые могли бы изменить тенденцию и направить ее в сторону развития? Что является внешним по отношению к социальности, к социуму? Я, конечно, сразу отмечаю здесь разного рода волюнтаристские, персоналистические теории, когда человек – вождь, лидер, – твердой волевой рукой направляет общество к светлому будущему.

Вопрос о том, откуда социум, социальность могут черпать энергию и информацию для развития, а не энтропировать, встает

достаточно остро. В этом смысле целый ряд философских направлений и то философское направление, к которому я себя отношу, могут дать достаточно простой по формулировке, но непростой по своей сути ответ: источником информации и энергии для развития социума, социально-деятельностных систем является мышление.

И тогда, если говорить о белорусском обществе, о постсоветских обществах, вот эта ретроградная эволюция, или инволюция, социальных отношений, социальных систем в наших странах определяется тем, что мы потеряли позитивную связь с мышлением. Грубо говоря, когда мы отказываемся от теоретического знания, от напряженной работы в области философии, теории, конструктивизма, связанного с социальными процессами, мы не имеем энергетической и информационной подпитки для этих вещей. Поэтому ответственность за деградацию наших обществ несут ленивые интеллектуалы. Или, выделяя интеллектуалов в особую группу в обществе, ответственность распределяется таким образом, что интеллектуальные круги стигматизируются. Они перемещаются в некий невлиятельный, незначимый уровень социального существования. Они перестают быть элитами и разрывают связь с правящими, управляющими структурами.

Поэтому то, что зацепило тогда Владимира Фурса, на что он обратил внимание и зафиксировал в своих работах, было очень важно, и сегодня мы можем опознать серьезные практические последствия отмеченного разрыва.

ТАТЬЯНА ЩИТЦОВА:

– Спасибо, Владимир. Сейчас я хотела бы попросить высказаться Михаила Минакова. Из троицы стран Беларусь-Россия-Украина современное украинское общество как будто бы меньше всего дает оснований для того, чтобы быть заподозренной в «регрессивной социальности» в том смысле, как это было истолковано Фурсом. У Украины был свой опыт реакции на распад СССР и последующего включения в глобальный контекст. Насколько социальные и политические реалии современного украинского общества дают основание для того, чтобы говорить об определенных регрессивных тенденциях? В чем смысл этой регрессивности?

МИХАИЛ МИНАКОВ:

– Зимой 2007 года у нас с Владимиром была дискуссия в Киеве. Он тогда как раз представлял доклад о регрессивной социальности, а я делал доклад о герменевтическом пессимизме. И он, и я говорили не столько о влиянии распада Союза, сколько

о реакции на ситуацию глобальности – какие реакции вызывает глобальность в локальных, национальных и региональных культурах, есть ли эволюция, есть ли прогресс. Кажется, мы тогда только начинали приближаться к пониманию причин происходящих в наших обществах процессов.

Уже в начале 2000-х годов было ясно, что идет процесс демодернизации. Этот термин возникает одним из первых. Его использует Валерий Тишков в книге о Чечне. О том, как война повлияла на чеченское общество. Как современное советское общество под влиянием террора и войны вдруг превращается в племенное. Причем в родоплеменное, не просто в какие-то крупные племенные объединения. В родоплеменное и новое религиозное общество. Тишков – этнограф. Он описывает это через эмпирические данные, описывает новые практики, отказ от рациональности, отказ от коммуникации с большими сообществами и возведение в культ малых сообществ. Явлинский в 2001 году пишет книгу об экономических процессах в России и их влиянии на социальную демодернизацию.

Потом у нас с Владимиром происходит дискуссия, и уже тогда возникает вопрос: является ли прогресс отменимым? Мы в то время рассматривали прогресс и результаты модерна советского образца. Советская модерность в ее большевистском и сталинистском образах была альтернативой по отношению к капиталистическому модерну. Приблизительно половина человечества к 1980-м годам живет по условиям и понятиям этой альтернативной модерности. Затем начинается откат. Распад Советского Союза, распад Восточного блока. Тем не менее Китай, многие крупные государства в Африке продолжали некоторое время жить по этим альтернативным паттернам.

Тогда Владимир прослеживал две причины демодернизации. Одна – это распад Союза, распад советского модерна. Вторая – влияние глобальности. Он говорит о том, что маленькие культуры, в т.ч. белорусская, как бы переживают обратную динамику, глобально индуцированную динамику. Здесь происходит реакция на чувство онтологической опасности для этих культур и обществ. Они закрываются, пытаются прекратить коммуникацию с внешними сообществами. В тексте Владимира о регрессивной социальности много говорится о психоаналитической структуре человека, живущего в сообществе, которое закрывается, демодернизируется. Это довольно необычный результат, необычный подход. Потому что потом целая плеяда социальных теоретиков, социальных философов, политических философов об этом пишут уже в терминах демодернизации. Есть старые модерны: США, Британия, Франция. Есть новые модерны. Это уже вторая половина XX века. Они между собой постоянно находятся в столкновении.

В 2015 году в Ницце состоялась конференция по теории демодернизации, куда приехало около 40 социологов, философов,

историков из разных стран мира и где пытались посмотреть на разные кейсы. Кейсы были из ЮАР. Например, как постмодерные большие городские центры Йоханнесбурга, Кейптауна сосуществуют вместе с племенными структурами вождей – капскими и других южных народностей. Как они друг друга усиливают и как возникает коррупция модерна, как распадается рациональная структура, моральная структура, онтологическая структура модерна в ЮАР. Или как живут местные сообщества в чилийских постиндустриальных городах после того, как были исчерпаны запасы медной руды. В 1970-е годы туда пришли лучшие технологии по добыче и обработке медной руды, были созданы новые города. Местные племена пережили шок от модернизации, пережили смену социальной структуры. Но вдруг руда заканчивается, международные корпорации уходят, и эти сообщества вдруг снова возвращаются в архаику, не желая того. Здесь наложение экологических и индустриальных причин.

Когда собрались все эти ученые со своими кейсами, оказалось, что есть два набора причин, и это точно не глобальность и не распад Союза. Этого нет в Чили, этого нет в ЮАР. Есть внешнее вмешательство, когда несколько современных обществ сталкиваются в своих экономических, политических, социальных, геополитических интересах и проигравший демодернизируется из-за влияния извне. Ирак – классический вариант. Современная, альтернативная модерность саддамовского Ирака вдруг переживает под влиянием войны за демократию такой огромный культурный регресс, о котором можно только с трудом догадываться, находясь извне. Лишь попадая туда сейчас, вы видите, как светское государство вдруг стало совершенно племенным и новорелигиозным.

Это же можно пережить на территории Украины, если вы попадаете в маленькие городки. Влияние священников, новый клерикализм невероятны. Интервьюируя современных политиков, по крайней мере порошковской, ющенковской поры, понимаешь, что влияние клира было невероятным. Теории заговора, теории плоской Земли, антинаучные теории – они имели огромное влияние именно на постреволюционные элиты. Это было поразительно. Особенно если измерять демодернизацию в плане *gender equality* индекса. Это довольно объективный индекс, показывающий доступ женщины к принятию решений в политических и экономических вопросах, например, сколько в парламенте, среди министров и в разных корпоративных правлениях женщин. После каждой революции их оказывается все меньше и меньше. Пока есть медленное, стабильное развитие, то гендерное равенство постепенно возникает. Революция же, вопреки заявленным целям, приводит в действие силы, ведущие не к прогрессу, а к новому рывку демодернизации. Казалось бы, украинский опыт должен был говорить о том, что у нас больше шансов на продолжение модернизации, однако наши циклы от одной революции до другой говорят

об упрощении в самых разных аспектах – и в структурах власти, и в содержании образования и т.д. Это упрощение происходит с каждым избирательным циклом. При этом у нас нет единой пирамиды, нет вертикали власти. У нас несколько пирамид между собой соревнуются, есть большой политический плюрализм. Тогда возникает вопрос. В наших сообществах в Украине, в Беларуси, в России демодернизация происходит при совершенно разных политических, социально-экономических ситуациях. Если мы берем самый простой индикатор, показатель – ВВП на душу населения по фиксированным ценам, – то Беларусь улучшила результат по сравнению с 1990-м годом почти в два раза. Украина едва достигает этого уровня сейчас. Молдова чуть-чуть перешла. То есть у нас есть свободная Украина и довольно свободная Молдова в политических терминах и крайне неудачные в социально-экономических терминах.

У нас, оказывается, свобода противоречит благосостоянию и наоборот. То, как мы изобрели постсоветский мир, почему-то противопоставляет эти две вещи. Задача для политической философии и для всех нас – понять, как это происходит. В этом ключе философия является прикладной наукой, которая через осмысление упрощения, демодернизации, регрессивной социальности должна предлагать практики преодоления этого упрощения, энтропии и пытаться усложнять мир в моральном плане – через плюрализм ценностей, плюрализм взглядов, через персонализацию, индивидуализацию наших сообществ, через борьбу с новым коллективизмом.

ТАТЬЯНА ЩИТЦОВА:

Спасибо, Михаил. Если сравнивать ситуацию в наших трех странах, то, в отличие от Украины, Беларусь и Россия схожи в том, что для обеих важным элементом является ностальгическая мифологизация советского прошлого, которая среди прочего подпитывает и государственную риторику обеспечения стабильности.

Если вернуться к вопросу о влиянии глобализации на наши общества, то сегодня, несомненно, нужно вести речь не о «шоке глобализации», который в начале этого века диагностировал Владимир Фурс, а о дифференцированной включенности в возможности, предложения или же проблемы, разворачивающиеся в глобальном контексте. В этом плане можно проследить существенные различия между тем, что происходит в Беларуси и в России, особенно учитывая разные модели государственного капитализма, реализованные в этих странах. Тем не менее устойчивая реактуализация советского наследия и схожесть политических режимов в Беларуси и в России делают обоснованным вопрос о работе некой регрессивной логики в современных белорусском

и российском обществах. Александр, можете ли вы взглянуть на этот вопрос из российской перспективы?

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ:

– Спасибо большое. По сценарию нашего разговора получается так, что каждый участник говорит за свое общество, и это понятно для аудитории. Хотя я испытываю затруднения встать и сказать: «А я вот, что касается России, скажу следующее», – потому я, наверное, буду говорить от себя, от своего я, хотя на те вещи, о которых выше сказали, тоже постараюсь обратить внимание. Говоря о феномене восточноевропейского или постсоветского развития, мне кажется, что Владимир употреблял бы сейчас другие акценты. Само слово «регресс» должно быть или уточнено, или даже взято в кавычки, или к нему должны быть обращены какие-то вопросы или сомнения. Ведь иначе этот регресс нужно понимать так: в 2008 году мы двигались в 1983-й, значит, в 2019 году мы должны оказаться в 1973-м. Это не история Бенджамина Баттона с обратным отсчетом времени.

Динамика обществ и в Беларуси, и в Украине, и в России показывает довольно сложный характер эволюции, не сводимый только к возврату к советским или к сталинским образцам. В эволюции нынешних общественных систем в России и в Беларуси мы видим довольно сложную картину развития даже на уровне политических и идеологических практик. Но мы видим ту пестроту, которую когда-то Эрнст Блох называл разновременностью. Это разные точки отсчета. Грубо говоря, немецкий Volkswagen, на котором написано «Спасибо деду за победу», – на что тут обращать внимание? На эту надпись или на то, где автомобиль произведен? А может быть, на то, где его взял или чем зарабатывает деньги тот менеджер, который его купил и написал именно то, что написал? Это сложная игра даже на уровне потребительского поведения, которое не совсем вписывается в идеологические сценарии.

Мне кажется, что на это Владимир мог обращать внимание. Основываясь на нашем личном и академическом общении, я бы сказал, что он, оставаясь человеком безусловно критическим, не был алармистом. То есть, сохраняя критическую дистанцию к тому, что происходило тогда в Беларуси и формировалось в России, у него не было идеи, что все плохо и развивается от плохого к еще более плохому. Он видел эти векторы, но также видел гораздо более сложную картину. Где какие-то сектора – или экономики, или социального развития, или высшего образования – могут давать другие примеры развития, которые, возможно, не встраиваются в эту общую картинку регресса или даже демодернизации.

В России есть коллеги, которые развивали позже понятие авторов книжки «Советский простой человек»¹. Идея простоты присутствует и в статье Владимира. Это, к сожалению, также покойный Борис Дубин и Лев Гудков. В этом смысле то, что написал Владимир в 2005 году, во многом совпадает с идеями, оценками, характеристиками, которые давали постсоветскому обществу некоторые российские авторы. При этом, например, Алексей Левинсон, который тоже входит в команду левадовцев, дает картину более сложную, обращая внимание на Volkswagen, на потребительские характеристики поведения, развитие интернета, на закрепление того, что Гидденс называл рефлексией современных обществ.

Сколько появляется клубов психологической помощи в современных Украине, России, Беларуси. Люди городского, среднего класса, иногда заимствуя внешние культурные, поведенческие сценарии, тоже меняются и в каком-то смысле развиваются. У Владимира в самые последние годы были, наряду с регрессивной социальностью, также идеи динамической концепции социального, где он обращался к понятию воображения. Здесь, мне кажется, сказалась его чуткость в том плане, чтобы видеть разные векторы, и в том, складываются ли эти векторы в одну картину.

Грубо говоря, идеологический, политический тренд Лукашенко и Путина в кавычках или все-таки без кавычек не должны рассматриваться как абсолютные знаменатели того, куда развивается или как меняется белорусское или российское общество. В Украине фамилии политических лидеров сменялись несколько раз. Думаю, урок Владимира заключается в том, что социальная философия может быть индикатором разновекторных сдвигов и учитывать динамику внутри разных сообществ.

И последнее: когда Владимир писал в 2005 году, все-таки еще оставалась картинка, условно говоря, нормы и отклонения от нормы. Нормы – это хорошего Запада и нас (беларусов, украинцев и россиян), которые догоняют, не могут догнать, пытаются, но не могут, не дошли, не добежали, заболели. Но вот эта явная картинка нормы и отклонения (регресса) остается и задает рамку статьи. Мы сами привыкли мыслить в рамках этой нормы. Однако опыт 2010-х годов показал, что с нормой тоже происходит перемена. Налицо взлет нового – и правого, и левого – популизма. Привычные координаты левого и правого стали меняться. То, что можно обозначать именами Лукашенко, Трампа или Орбана, показало, что с Европой, с Западом, то есть с бывшей нормой, тоже что-то очень сильно не так. Бывшая норма оказалась под большим вопросом. В этом отношении опыт постсоветского анализа оказывается не только опытом людей, которые не догнали, но и тем опытом, из которого нужно извлекать собственные уроки. Те проблемы,

1 Имеется в виду книга: Ю. А. Левада (отв. ред.), *Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 90-х*. Москва 1993. – Прим. ред.

с которыми сейчас сталкивается оппозиция Трампа, отчасти похожи на те проблемы, с которыми сталкивалась и сталкивается оппозиция Лукашенко, Путину или каким-то тенденциям в Украине. В этом смысле глобализация в разных своих новых обликах сказывается и в том, что привычное распределение прогресса и регресса оказалось не таким, каким оно было 15 лет назад, когда эти статьи выходили.

ТАТЬЯНА ЩИТЦОВА:

– Спасибо, Александр. Думаю, это очень в унисон с тем, о чем сам Владимир пишет в то время, потому что для него введение понятия регресса не было каким-то бесспорным шагом. Он сам делает специальные оговорки в этой связи. Кроме того, он подчеркивает, что хочет дистанцироваться от использования слова переходное (транзитивное) общество, отказаться от логики перехода к некой норме либеральных демократий. Основанием для использования понятия регрессии является прежде всего определенная адаптивная стратегия на уровне психики, динамики самости. То есть анализ Фурса разворачивается на пересечении структуры личности и общества. Вскрываемая им «обратная» социальная динамика коренится в патологизации личности. В этом смысле его социальный анализ имеет очень сильный антропологический фокус.

Конечно, резонно возникает вопрос, каким образом люди, мыслимые в терминах такого рода социальной патологии личности, могут быть мотивированы к некой положительной социальной динамике? Когда Фурс разработывал концепцию регрессивной социальности, в Беларуси не было проявленного гражданского общества. Это сегодня оно начало у нас понемногу формироваться. А в то время он ориентировался, с опорой на Касториадиса, на проект общественной автономии, выступавшей как социальный идеал и задававшей горизонт для желаемой («положительной») социальной динамики. В этой связи интересно, как сам Владимир определяет свое место между диагностируемой им регрессивной формой социальной жизни, которая сложилась в Беларуси на начало 2000-х, и воображаемым социальным идеалом. Он говорит об ироничном дистанцировании по отношению к тому, что происходит. Мне кажется, это позволяет в целом лучше понять положение философов и интеллектуалов в то время. И здесь мы возвращаемся к упреку Владимира Мацкевича по поводу того, что интеллектуалы ушли в какие-то маргинальные зоны. В ситуации неразвитого гражданского общества, очевидно, нужно было время для того, чтобы по мере его развития критическая рефлексия могла постепенно стать элементом новых форм социального взаимодействия.

МИХАИЛ МИНАКОВ:

– Я вернусь к вопросу о человеке. Если мы о чем-то говорим или что-то измеряем, то это человеческое лицо прогресса. Его легко измерить. Мое первое образование – медицинское. Я был сельским фельдшером. Я могу сказать, что прогресс легко измерить. Выживет рожденный младенец или не выживет. Мама выживет или не выживет. Ожидаемая длительность жизни человека. Можно усложнить: выбор между большим выбором и меньшим выбором в жизни человека. Прогресс обусловлен усложнением личного выбора. Это всегда является человеческим выбором.

Постсоветский человек – крайне интересная фигура. В моей исследовательской деятельности для меня интересен именно постсоветский человек. Я совершенно согласен с писателем Владимиром Сорокиным, который недавно так красиво сказал: «Постсоветский человек огорчил еще больше, чем советский». Здесь происходит совмещение, поскольку в советском человеке была проблема с аутентичностью: двоемыслие, двуязычие. Казалось, что вот сейчас этот злобный режим сбросим – и аутентичность вернется. Уже перестройка, возвращение к религии, возможность общаться с трансцендентным, больше свободы, больше выбора. Казалось, что вот он, доступ к себе, к личному, укорененному в традиционную или нетрадиционную культуру, но к себе. Аутентичность доступна.

Человек, который на Volkswagen, привозит гроб с солдатом, убитым на Донбасской войне. Все село, когда везут этот гроб, становится на колени, провожает его. Но вечером, когда принесут повестку сыновьям односельчан, то отцы и сыновья соберутся и уедут за рубеж на заработки, зачастую в ту же в Россию. И вот это разрыв между стоянием на коленях в сообществе и твоим отъездом. И вы вместе уедете в Таганрог или в Петербург делать ремонты. Это соседствует в одном человеке, в одной личности. Эта аутентичность так же отсутствует, как и до этого. Оказывается, не социальный план, а есть что-то в человеке, что провоцирует невозможность приближения к модерности. Она всегда проблематична. Только умные институты дают мотивацию к трансформации, к тому, что можно назвать прогрессом, измеримым временем жизни или сложностью выбора.

ТАТЬЯНА ЩИТЦОВА:

Коллеги, а как вы в целом видите ситуацию с социально-критической теорией в постсоветском регионе? Насколько востребованы в современных общественных и академических дискуссиях, например, марксизм или Франкфуртская школа?

Если смотреть на поколения студентов, аспирантов, менявшихся за эти 10 лет, то я вижу как раз нарастание спроса на левое. При этом левое более простое, чаще всего троцкистское, с точки зрения которого Адорно или Хабермас и то, что сформулировал Владимир Фурс, представляется каким-то подозрительным, слишком рафинированным. Востребованным остается и то, что давала и продолжает давать западная критическая теория, тот неомарксизм, к которому Владимир относился с большим интересом и о котором писал все-таки не зря, явно разделяя какие-то базовые установки; но это была такая сложная игра в ангажирование и дистанцию, сохранение необходимости трансцендентализма.

Когда Адорно в 1968 году вместо того, чтобы говорить про Маркса, назначает доклад про Гёте, – это был вызов моде. Это умение встать и сказать нет. В этом смысле в критической теории сейчас, в 2019 году, неожиданно оказался заложен элитарный потенциал. Осцилляция между либеральной и левой мыслью, которые сейчас в головах у студентов или у новых левых рождающихся идеологов, которым примерно 30. А левые и либеральные находятся, наоборот, в противопоставлении для Владимира. Там был сложный мост между разными ценностями свободы и справедливости. Сейчас запрос на справедливость больше. Притом и в молодом поколении, и в поколении интеллектуалов, и в поколении людей, участвующих в политике, выходящих на улицы в Москве или в Киеве и, может быть, в Минске.

Запрос критической теории даже 1968 года на то, чтобы сохранять вот эту Кантовскую дистанцию и не растворяться, – это есть в статье Владимира. Он пишет, что дело не в том, чтобы на смену Лукашенко поставили какого-то анти-Лукашенко, который придет и даст нам волю. И наступит какой-то час X, оковы рухнут, и вот оно начнется. Такое было в 1990–1991 годах. Оковы рухнули. Прошло 28 лет, и мы обсуждаем вещи, связанные с пробуксовкой или с тем, что времена возвращаются.

Мне кажется важным в том наследии, которым Владимир занимался много лет – и он не зря много лет отдал изучению Хабермаса и критической теории, чтобы извлечь вот этот потенциал, – сохранять дистанцию от каких-то процессов, не просто обслуживать социальные технологии, сохранять вещи, связанные с антропологией, человеческим достоинством, какие-то вещи психологические, даже политического плана, не совпадать с господствующими векторами, трендами и сохранять умение идти наперекор. Адорно и даже Хабермас – вот они умели эту дистанцию соблюдать даже среди своих союзников. Когда Хабермас в 1969 году заговорил о левом фашизме среди своих ближайших единомышленников. Это позиция сказать: «Ребята, что-то не так. Посмотрите на себя сами, посмотрите на себя со стороны».

Важно участие и мобилизация. Мне кажется, то, что Владимир в этой статье и в других своих трудах давал нам для раздумий и в 2019 году, – это то, как по-разному будут происходить процедуры мобилизации, связи интеллектуалов с их аудиторией, связи нас, преподавателей, со студенческой аудиторией. Связи того, что мы говорим на конгрессах, с тем, что люди обсуждают в троллейбусах. Вот про эту обратную связь, мне кажется, он тоже думал. При всей своей рафинированности, дистанцированности критическая теория дает очень важную и неотменимую пищу. Мы без этого не можем.

ВЛАДИМИР МАЦКЕВИЧ:

Когда я слышу слова «критическая теория», то я возвращаюсь к Канту. Здесь проблема начала. У нас когда-то в Летучем университете одна из первых конференций была посвящена проблеме начала. С чего начинается наш, современников, этап мышления, осмысления? В зависимости от того, как мы определим, когда и где оно начинается, так мы и будем способны к изменению, к реформации, трансформации сложившихся паттернов, по которым движется наша мысль. Если мы хотим понимать что-то про модерн, надо понимать тех, кто закладывает нормы, паттерны современного мышления, современного отношения. А это XVIII век. Все-таки в XVIII веке не было никаких натурализованных образцов ни для разделения властей, ни для прав человека и гражданина. Ни для чего. Это были идеальные конструкции. Это то, что было общее у мыслителей, философов того времени с наукой того времени: наличие идеальных объектов. Они работали с идеальными объектами как первоосновой мышления. То, что мы считаем первоосновой, то мы и можем трансформировать, осмыслить. Если мы остаемся погруженными в дискурс Франкфуртской школы и только в этом дискурсе и можем работать, мы не докапываемся до глубины и поэтому не способны ни трансформировать, ни реформировать сложившиеся паттерны. А время требует совсем другого отношения.

ТАТЬЯНА ЩИТЦОВА:

Коллеги, нам пора финишировать. В завершение я хотела бы подчеркнуть два момента, почему концепт регрессивной социальности Владимира Фурса заслуживает внимания. Во-первых, мне представляется чрезвычайно продуктивным подход, который показывает связь структуры психики, самости с тем, как устроена работа государственных (авторитарных) бюрократических и идеологических аппаратов. Второй момент – это то, что у Володи не

было иллюзий по поводу преодолимости регрессивности в структуре личности (по-моему, об этом прекрасно говорит его текст «Декарт – учитель философии»), более того, он именно отсюда выводит нас к вопросу о том, почему мы не можем не искать какой-то альтернативной ориентации, не можем не желать какой-то положительной динамики. Для него точкой отсчета, несомненно, является индивидуальный травматический опыт. При этом обсуждаемая сегодня статья недвусмысленно показывает, что проблема на самом деле заключается в «мы», в том, как устанавливается общество. Коллеги, пожалуйста, ваши заключительные реплики.

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ:

У Грамши была такая метафора, понятие позиционной войны. У меня после перепрочтения наследия Владимира и его последней статьи про Касториадиса родилось выражение позиционного мира или позиционного перемирия. То есть нет представления о том, что мы выиграли эту войну, – что свойственно коммунистам; но есть понимание, что есть какая-то сложная динамика и есть понятие альтернативы. Из этой альтернативной точки зрения он как бы и критикует наличную социальность. Не потому, что в Германии лучше, чем в Беларуси. Не потому, что на Западе лучше, чем в той конкретной Беларуси. Где-то в области альтернативы заложен тот идеал, который позволяет критиковать наличное состояние социальности, которое неудовлетворительно.

ВЛАДИМИР МАЦКЕВИЧ:

– Мне страшно нравится ситуация, которая имеет место в Беларуси, [нравится] как человеку, который пытается это осмыслить. Мы переживаем очень сложные и необычные времена. Беспрецедентные времена. К описанию и пониманию, а уж тем более к работе с этим не применимы теоретические конструкции, описания ситуаций других обществ. В этом смысле Фурс интересен как раз своим заходом на конкретику в гегелевском смысле. Мыслить не абстрактно, а конкретно, здесь и сейчас.

С 2009 года, как с нами нет Фурса, прошло 10 лет. Многие вещи, наверное, сегодня Фурс, будь он жив, осмысливал бы иначе. За 10 лет в нашей совершенно стабильной стране и в мире происходят вещи, которые обесценивают или делают не совсем действительными конструкты, которыми мы описывали общество десятилетней давности. Мы живем очень быстро. И мыслить нужно быстро.

МИХАИЛ МИНАКОВ:

– Я возьму эстафету от Владимира о беспрецедентности. Модерность сама по себе беспрецедентна. Это архаика всегда смотрит назад, были ли прецеденты. Все, что я хотел сказать по этому поводу, я изложил в книге «Диалектика модерности в Восточной Европе». Я понимаю, что я как-то подгадал, когда отдавал издателю. Я думал, что она вообще не релевантна сейчас. Оказывается, за пределами Украины вопросы демодернизации, регрессивной социальности имеют значение и вызывают отклик. В моей стране, к сожалению, правый поворот и поиски аутентичности не в себе, не в индивиде, не в человеке, а в коллективном только усиливаются. Консервативная революция состоялась, она продолжается. Видимо, этот консервативный поворот теперь будет нас отличать. По крайней мере, украинцев и россиян, здесь мы ближе – россияне и украинцы.

ТАТЬЯНА ЩИТЦОВА:

– Коллеги, большое спасибо за этот разговор.